



Булат Шалвович Окуджава
Надежды маленький оркестрик
Серия «Сочинения Булата Окуджавы»

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6086167

Надежды маленький оркестрик. Лирика (50-е – 70-е): Зебра Е; М.; 2009

ISBN 978-5-94663-936-1

Аннотация

В настоящий сборник вошла лирика Булата Окуджавы 50–70-х годов.

Содержание

Песенка о ночной Москве	8
На Тверском бульваре	9
«Эта женщина! Увижу и немею...»	10
«Неистов и упрям...»	11
Синька	12
Сентиментальный марш	13
Веселый барабанщик	14
«Время идет, хоть шути – не шути...»	15
«Женщины-соседки, бросьте стирку и шитье...»	16
«Не верь войне, мальчишка...»	17
«...И когда удивительно близко...»	18
«Глаза, словно неба осеннего свод...»	19
Голубой шарик	20
«Не бродяги, не пропойцы...»	21
Ванька Морозов	22
«Нева Петровна, возле вас – всё львы...»	24
«Мне нужно на кого-нибудь молиться...»	25
Вобла	26
«На белый бал берез не соберу...»	27
Песенка о солдатских сапогах	28
Король	29
Ангелы	30
Первый день на передовой	32
Полночный троллейбус	34
Медсестра Мария	35
Новое утро	36
«Настоящих людей так немного!..»	37
Песенка об открытой двери	38
Песенка о Фонтанке	39
Московский муравей	40
«Часовые любви на Смоленской стоят...»	41
«Мой мальчик, нанося обиды...»	42
«Дома лучше (что скрывать?)...»	43
«Жизнь моя – странствия. Прощай! Пиши!..»	44
«Эта женщина такая...»	45
«Я ухожу от пули, делаю отчаянный рывок...»	46
«Из окон корочкой несет поджаристой...»	47
Песенка о комсомольской богине	48
Искала прачка клад	49
До свидания, мальчики	50
«На арбатском дворе – и веселье и смех...»	51
«Не вели, старшина, чтоб была тишина...»	52
«О чем ты успел передумать, отец расстрелянный мой...»	53
«Горит пламя, не чадит...»	54
«Сто раз закат краснел, рассвет синел...»	55
Тамань	56

«На мне костюмчик серый-серый...»	57
«Магическое “два”. Его высоты...»	58
Песенка про Черного кота	59
«Рифмы, милые мои...»	60
«Раскрываю страницы ладоней...»	61
Три сестры	62
Бумажный солдатик	63
«...И когда под вечер над тобою...»	64
Джазисты	65
Арбатский дворик	66
Живописцы	67
Песенка об Арбате	68
«Над синей улицей портовой...»	69
«А мы швейцару: “Отворите двери!...”»	70
Каравай	71
«Разлюбила меня женщина и ушла не спеша...»	72
Старый пиджак	73
«Мы стоим – крестами руки...»	74
«Тьмою здесь все занавешено...»	75
Старый дом	76
Черный «мессер»	77
«Я жалею собак с нашей улицы...»	78
Песенка о Сокольниках	79
Осень в Кахетии	80
По Смоленской дороге	81
Дежурный по апрелю	82
О кузнечиках	83
«Когда известный русский царь в своей поддевочке короткой...»	84
Песенка о московских ополченцах	85
Гитара	86
«Непокорная голубая волна...»	87
Песенка веселого солдата	88
«В саду Нескучном тишина...»	89
Песенка о московском трамвае	90
«Допеты все песни. И точка...»	91
«Всю ночь кричали петухи...»	92
Песенка о пехоте	93
Конец ознакомительного фрагмента.	94



**Булат Шалвович Окуджава
Надежды маленький
оркестрик. Лирика (50-е – 70-е)**



Песенка о ночной Москве

Б. Ахмадулиной

Когда внезапно возникает
еще неясный голос труб,
слова, как ястребы ночные,
срываются с горячих губ,
мелодия, как дождь случайный,
гремит; и бродит меж людьми
надежды маленький оркестрик
под управлением любви.

В года разлук, в года сражений,
когда свинцовые дожди
лупили так по нашим спинам,
что снисхождения не жди,
и командиры все охрипли...
Тогда командовал людьми
надежды маленький оркестрик
под управлением любви.

Кларнет пробит, труба помята,
фагот, как старый посох, стерт,
на барабане швы разлезлись...
Но кларнетист красив, как черт!
Флейтист, как юный князь, изящен...
И вечно в сговоре с людьми
надежды маленький оркестрик
под управлением любви.

На Тверском бульваре

На Тверском бульваре
вы не раз бывали,
но не было, чтоб места не хватило
на той скамье зеленой,
на перенаселенной,
как будто коммунальная квартира.

Та зеленая скамья,
я признаюсь без вранья,
даже в стужу согревала
непутевого меня.

А с той скамьи зеленой,
с перенаселенной,
случается, и при любой погоде
одни уходят парами
дорожками бульварными,
другие в одиночестве уходят.

Та зеленая скамья,
я признаюсь без вранья,
для одних недолгий берег,
для других дымок жилья.

«Эта женщина! Увижу и немею...»

Эта женщина! Увижу и немею.
Потому-то, понимаешь, не гляжу.
Ни кукушкам, ни ромашкам я не верю
и к цыганкам, понимаешь, не хожу.

Напророчат: не люби ее такую,
набормочут: до рассвета заживет,
наколдуют, нагадают, накукуют...
А она на нашей улице живет!

«Неистов и упрям...»

Ю. Нагибину

Неистов и упрям,
гори, огонь, гори.
На смену декаблям
приходят январь.

Нам все дано сполна —
и горести, и смех,
одна на всех луна,
весна одна на всех.

Прожить лета б дотла,
а там пускай ведут
за все твои дела
на самый страшный суд.

Пусть оправданья нет
и даже век спустя...
Семь бед – один ответ,
один ответ – пустяк.

Неистов и упрям,
гори, огонь, гори.
На смену декаблям
приходят январь.

Синька

В южном прифронтовом городе на рынке
торговали цыганки развесной синькой.
Торговали цыганки, нараспев голосили:
«Синяя синька! Лиля-лиля!»

С прибаутками торговали цыганки на
пустом рынке, в рядах пустых,
а черные мужья крутили сигарки,
и пальцы шевелились в бородах густых.

А жители от смерти щели копали.
Синьку веселую они не покупали.
Было вдоволь у них синевы под глазами,
синего мрака погребов наказанья,
синего инея по утрам на подушках,
синей золы в печурках потухших...

И все же не хватало им синего-синего,
как матери – сына, как каравая сытного,
а синька была цвета синего неба,
которого давно у них не было, не было.

И потому, наверное, на пустом рынке,
пестрые юбки по ветру кружа,
торговали цыганки (чудеса!) синькой,
довоенной роскошью, без барыша.

Сентиментальный марш

Надежда, я вернусь тогда,
когда трубач отбой сыграет,
когда трубу к губам приблизит
и острый локоть отведет.
Надежда, я останусь цел:
не для меня земля сырая,
а для меня твои тревоги
и добрый мир твоих забот.

Но если целый век пройдет,
и ты надеяться устанешь,
Надежда, если надо мною
смерть распахнет свои
крыла, ты прикажи, пускай тогда
трубач израненный привстанет,
чтобы последняя граната
меня прикончить не смогла.

Но если вдруг когда-нибудь
мне уберечься не удастся,
какое б новое сраженье
ни покачнуло шар земной,
я все равно паду на той,
на той единственной гражданской,
и комиссары в пыльных шлемах
склонятся молча надо мной.

Веселый барабанщик

Встань пораньше, встань пораньше, встань
пораньше,
когда дворники маячат у ворот.
Ты увидишь, ты увидишь, как веселый
барабанщик
в руки палочки кленовые берет.

Будет полдень, суматохою пропахший,
звон трамваев и людской водоворот,
но прислушайся – услышишь, как веселый
барабанщик
с барабаном вдоль по улице идет.

Будет вечер – заговорщик и обманщик,
темнота на мостовые упадет,
но взглядишь – и ты увидишь, как веселый
барабанщик
с барабаном вдоль по улице идет.

Грохот палочек... то ближе он, то дальше,
сквозь сумятицу, и полночь, и туман...
Неужели ты не слышишь, как веселый
барабанщик
вдоль по улице проносит барабан?!

«Время идет, хоть шути – не шути...»

Время идет, хоть шути – не шути,
как морская волна вдруг нахлынет и скроет...
Но погоди, это всё впереди,
дай надышаться Москвою.

Мало прошел я дорогой земной.
Что же рвешь ты не в срок пополам мое сердце?
Ну не спеши, это будет со мной,
ведь никуда мне не деться.

Видишь тот дом? Там не гасят огня,
там друзья меня ждут не больным, не отпетым...
Да не спеши! Как же им без меня?
Надо ведь думать об этом.

Дай мне напиться воды голубой,
придержи до поры и тоску и усталость...
Ну потерпи, разочтемся с тобой —
я должником не останусь.

«Женщины-соседки, бросьте стирку и шитье...»

Женщины-соседки, бросьте стирку и шитье,
живите, будто заново, все начинайте снова!
У порога, как тревога, ждет нас новое житье
и товарищ Надежда по фамилии Чернова.

Глаза ее суровы, их приговор таков:
чтоб на заре без паники, чтоб вещи были собраны,
чтоб каждому мужчине – по паре пиджаков
и чтобы ноги – в сапоги, а сапоги – под седлами.

Прощайте, прощайте, наш путь предельно чист,
нас ждет веселый поезд, и два венка терновых,
и два звонка медовых, и грустный машинист —
товарищ Надежда по фамилии Чернова.

Ни прибыли, ни убыли не будем мы считать —
не надо, не надо, чтоб становилось тошно!
Мы успели всяких книжек сорок тысяч прочитать
и узнали, что к чему и что почем, и очень точно.

«Не верь войне, мальчишка...»

Не верь войне, мальчишка,
не верь: она грустна.
Она грустна, мальчишка,
как сапоги тесна.

Твои лихие кони
не смогут ничего:
ты весь – как на ладони,
все пули – в одного.

«...И когда удивительно близко...»

...И когда удивительно близко
остается идти до тебя,
отправляется нежность на приступ,
в свои тихие трубы трубя.

И поротно, и побатальонно
льется в душу она сгоряча,
и ее голубые знамена
на твои упадают плеча.

Знаешь, Оля, на улочке этой,
где старинные стынут дома,
в поединках сходились поэты,
гимназистки сходили с ума.

Продолжается жизни движенье
вдоль по улочке. Век непочат.
Продолжается листьев круженье,
каблуки по асфальту стучат.

И за щедрой твоею рукою
что-то брезжится мне впереди,
и в груди назревает такое,
что уже не хватает груди.

«Глаза, словно неба осеннего свод...»

Глаза, словно неба осеннего свод,
и нет в этом небе огня,
и давит меня это небо и гнет —
вот так она любит меня.

Прощай. Расстаемся. Пощады не жди!
Все явственней день ото дня,
что пусто в груди, что темно впереди —
вот так она любит меня.

Ах, мне бы уйти на дорогу свою,
достоинство молча храня!
Но старый солдат, я стою, как в строю...
Вот так она любит меня.

Голубой шарик

Девочка плачет: шарик улетел.
Ее утешают, а шарик летит.

Девушка плачет: жениха все нет.
Ее утешают, а шарик летит.

Женщина плачет: муж ушел к другой.
Ее утешают, а шарик летит.

Плачет старушка: мало пожила...
А шарик вернулся, а он голубой.

«Не бродяги, не пропойцы...»

Не бродяги, не пропойцы,
за столом семи морей
вы пропойте, вы пропойте
славу женщине моей!

Вы в глаза ее взгляните,
как в спасение свое,
вы сравните, вы сравните
с близким берегом ее.

Мы земных земней. И вовсе
к черту сказки о богах!
Просто мы на крыльях носим
то, что носят на руках.

Просто нужно очень верить
этим синим маякам,
и тогда нежданный берег
из тумана выйдет к вам.

Ванька Морозов

А. Межирову

За что ж вы Ваньку-то Морозова?
Ведь он ни в чем не виноват.
Она сама его морочила,
а он ни в чем не виноват.

Он в старый цирк ходил на площади
и там циркачку полюбил.
Ему чего-нибудь попроще бы,
а он циркачку полюбил.

Она по проволке ходила,
махала белой рукой,
и страсть Морозова схватила
своей мозолистой рукой.

А он швырял в «Пекине» сотни,
ему-то было все равно.
А по нему Маруся сохнет,
и это ей не все равно.

А он медузами питался,
циркачке чтобы угодить.
И соблазнить ее пытался,
чтоб ей, конечно, угодить.

Не думал, что она обманет:
ведь от любви беды не ждешь...
Ах, Ваня, Ваня, что ж ты, Ваня?
Ведь сам по проволке идешь!



«Нева Петровна, возле вас – всё львы...»

А. Шуб

Нева Петровна, возле вас – всё львы.
Они вас охраняют молчаливо.
Я с женщинами не бывал счастливым,
вы – первая. Я чувствую, что – вы.

Послушайте, не ускоряйте бег,
банальным славословьем вас не трону:
ведь я не экскурсант, Нева Петровна,
я просто одинокий человек.

Мы снова рядом. Как я к вам привык!
Я всматриваюсь в ваших глаз глубины.
Я знаю: вас великие любили,
да вы не выбирали, кто велик.

Бывало, вы идете на проспект,
не вслушиваясь в титулы и званья,
а мраморные львы – рысцой за вами
и ваших глаз запоминают свет.

И я, бывало, к тем глазам нагнусь
и отражусь в их океане синем
таким счастливым, молодым и сильным...
Так отчего, скажите, ваша грусть?

Пусть говорят, что прошлое не в счет.
Но волны набегают, берег точат,
и ваше платье цвета белой ночи
мне третий век забыться не дает.

«Мне нужно на кого-нибудь молиться...»

О. Батраковой

Мне нужно на кого-нибудь молиться.
Подумайте, простому муравью
вдруг захотелось в ноженьки валиться,
поверить в очарованность свою!

И муравья тогда покой покинул,
все показалось будничным ему,
и муравей создал себе богиню
по образу и духу своему.

И в день седьмой, в какое-то мгновенье,
она возникла из ночных огней
без всякого небесного знаменья...
Пальтишко было легкое на ней.

Все позабыв – и радости, и муки,
он двери распахнул в свое жильё
и целовал обветренные руки
и старенькие туфельки ее.

И тени их качались на пороге,
безмолвный разговор они вели,
красивые и мудрые, как боги,
и грустные, как жители земли.

Вобла

Холод войны немилосерд и точен.
Ей равнодушия не занимать.

...Пятеро голодных сыновей и дочек
и одна отчаянная мать.

И каждый из нас глядел в оба,
как по синей клеенке стола
случайная одинокая вобла
к земле обетованной плыла,
как мама руками теплыми
за голову воблу брала,
к телу гордому ее прикасалась,
раздевала ее догола...
Ах, какой красавицей вобла казалась!
Ах, какую крошечной вобла была!
Она клала на плаху буйную голову,
и летели из-под руки
навстречу нашему голоду
чешуи пахучие медяки.

А когда-то кружок звон,
как звон наковален, как колоколов перелив...
Знатоки ее по пивным смаковали,
королевою снеди пивной нарекли.

...Пятеро голодных сыновей и дочек.
Удар ножа горяч как огонь.
Вобла ложилась кусочек в кусочек —
по сухому кусочку в сухую ладонь.
Нас покачивало военным ветром,
и, наверное, потому
плыла по клеенке счастливая жертва
навстречу спасению моему.

«На белый бал берез не соберу...»

На белый бал берез не соберу.
Холодный хор хвои хранит молчанье.
Кукушки крик, как камешек отчаянья,
все катится и катится в бору.

И все-таки я жду из тишины
(как тот актер, который знает цену
чужим словам, что он несет на сцену)
каких-то слов, которым нет цены.

Ведь у надежд всегда счастливый цвет,
надежный и таинственный немного,
особенно, когда глядишь с порога,
особенно, когда надежды нет.

Песенка о солдатских сапогах

Вы слышите: грохочут сапоги,
и птицы ошалелые летят,
и женщины глядят из-под руки?
Вы поняли, куда они глядят?

Вы слышите: грохочет барабан?
Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней...
Уходит взвод в туман-туман-туман...
А прошлое ясней-ясней-ясней.

А где же наше мужество, солдат,
когда мы возвращаемся назад?
Его, наверно, женщины крадут
и, как птенца, за пазуху кладут.

А где же наши женщины, дружок,
когда вступаем мы на свой порог?
Они встречают нас и вводят в дом,
но в нашем доме пахнет воровством.

А мы рукой на прошлое: вранье!
А мы с надеждой в будущее: свет!
А по полям жиреет воронье,
а по пятам война грохочет вслед.

И снова переулком – сапоги,
и птицы ошалелые летят,
и женщины глядят из-под руки...
В затылки наши круглые глядят.

Король

Б. Федорову

Во дворе, где каждый вечер все играла радиола,
где пары танцевали, пыля,
ребята уважали очень Леньку Королева
и присвоили ему званье короля.

Был король, как король, всемогущ.
И если другу станет худо и вообще не повезет,
он протянет ему свою царственную руку,
свою верную руку, – и спасет.

Но однажды, когда «мессершмитты», как вороны,
разорвали на рассвете тишину,
наш Король, как король, он кепчонку, как корону —
набекрень, и пошел на войну.

Вновь играет радиола, снова солнце в зените,
да некому оплакать его жизнь,
потому что тот король был один (уж извините),
королевой не успел обзавестись.

Но куда бы я ни шел, пусть какая ни забота
(по делам или так, погулять),
все мне чудится, что вот за ближайшим поворотом
Короля повстречаю опять.

Потому что на войне, хоть и правда стреляют,
не для Леньки сырая земля.
Потому что (виноват), но я Москвы не представляю
без такого, как он, короля.

Ангелы

Выходят танки из леска,
устало роют снег,
а неотступная тоска
бредет за ними вслед.

Победа нас не обошла,
да крепко обожгла.
Мы на поминках водку пьем,
да ни один не пьян.

Мы пьем напропалую
одну, за ней вторую,
пятую, десятую,
горькую десантную.

Она течет, и хоть бы черт,
ну хоть бы что – ни капельки...
Какой учет, когда течет?
А на закуску – яблоки.

На рынке не развешенные
дрожащею рукой,
подаренные женщиной,
заплаканной такой.

О ком ты тихо плакала?
Все, знать, не обо мне,
пока я топал ангелом
в защитной простыне.

Ждала, быть может, слова,
а я стоял едва,
и я не знал ни слова,
я все забыл слова.

Слова, слова... О чем они?
И не припомнишь всех.
И яблочко моченое
упало прямо в снег.

На белом снегу
лежит оно.
Я к вам забегу
давным-давно,

как еще до войны,
как в той тишине,
когда так нужны
вы не были мне...

Первый день на передовой

Волнения не выдавая,
оглядываюсь, не спрашивая.
Так вот она – передовая!
В ней ничего нет страшного.

Трава не выжжена, лесок не хмур,
и до поры
объявляется перекур.
Звонят комары.

Звонят, звонят
возле меня.
Летят, летят —
крови моей хотят.

Отбиваюсь в изнеможении
и вдруг попадаю в сон:
дым сражения, окружение,
гибнет, гибнет мой батальон.

А пули звонят
возле меня.
Летят, летят —
крови моей хотят.

Кричу, обессилив,
через хрипоту:
«Пропадаю!»

И к ногам осины,
весь в поту,
припадаю.

Жить хочется!
Жить хочется!
Когда же это кончится?

Мне немного лет...
гибнуть толку нет...
я ночных дозоров не выстоял...
я еще ни разу не выстрелил...

И в сопревшую листву зарываюсь
и просыпаюсь...

Я, к стволу осины прислонившись, сажу,
я в глаза товарищам гляжу-гляжу:
а что, если кто-нибудь в том сне побывал?
А что, если видели, как я воевал?

Полночный троллейбус

Когда мне невмочь пересилить беду,
когда подступает отчаянье,
я в синий троллейбус сажусь на ходу,
в последний,
в случайный.

Полночный троллейбус, по улице мчи,
верши по бульварам круженье,
чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи
крушенье,
крушенье.

Полночный троллейбус, мне дверь отвори!
Я знаю, как в зябкую полночь
твои пассажиры – матросы твои – приходят
на помощь.

Я с ними не раз уходил от беды,
я к ним прикасался плечами...
Как много, представьте себе, доброты
в молчанье,
в молчанье.

Полночный троллейбус плывет по Москве,
Москва, как река, затухает,
и боль, что скворчком стучала в виске,
стихает,
стихает.

Медсестра Мария

А что я сказал медсестре Марии,
когда обнимал ее?

– Ты знаешь, а вот офицерские дочери
на нас, на солдат, не глядят.

А поле клевера было под нами,
тихое, как река.

И волны клевера набегали,
и мы качались на них.

И Мария, раскинув руки,
плыла по этой реке.

И были черными и бездонными
голубые ее глаза.

И я сказал медсестре Марии,
когда наступил рассвет:

– Нет, ты представь: офицерские дочери
на нас и глядеть не хотят.

Новое утро

Не клонись-ка ты, головушка,
от невзгод и от обид.
Мама, белая голубушка,
утро новое горит.

Все оно смывает начисто,
все разглаживает вновь...
Отступает одиночество,
возвращается любовь.

И сладки, как в полдень пасеки,
как из детства голоса,
твои руки, твои песенки,
твои вечные глаза.

«Настоящих людей так немного!..»

Настоящих людей так немного!
Всё вы врете, что век их настал.
Посчитайте и честно, и строго,
сколько будет на каждый квартал.

Настоящих людей очень мало:
на планету – совсем ерунда,
на Россию – одна моя мама,
только что ж она может одна?

Песенка об открытой двери

Когда метель кричит как зверь —
протяжно и сердито,
не запирайте вашу дверь,
пусть будет дверь открыта.

А если ляжет дальний путь,
нелегкий путь, представьте,
дверь не забудьте распахнуть,
открытой дверь оставьте.

И, уходя, в ночной тиши
без долгих слов решайте:
огонь сосны с огнем души
в печи перемешайте.

Пусть будет теплою стена
и мягкой скамейка...
Дверям закрытым – грош цена,
замку цена – копейка!

Песенка о Фонтанке

По Фонтанке, по Фонтанке, по Фонтанке
лодки белые холеные плывут.
На Фонтанке, на Фонтанке, на Фонтанке
ленинградцы удивленные живут.

От войны еще красуются плакаты,
и погибших еще снятся голоса.
Но давно уж – ни осады, ни блокады —
только ваши удивленные глаза.

Я – приезжий. Скромно стану в отдаленье.
Слов красивых и напрасных не скажу:
что я знаю?
Лишь на ваше удивленье
удивленными глазами погляжу.

Московский муравей

Не тридцать лет, а триста лет иду, представьте вы,
по этим древним площадям, по голубым торцам.
Мой город носит высший чин и звание Москвы,
но он навстречу всем гостям всегда выходит сам.

Иду по улицам его в рассветной тишине,
бегу по улочкам кривым (простите, города)...
Но я – московский муравей, и нет покоя мне —
так было триста лет назад и будет так всегда.

Ах, этот город, он такой, похожий на меня:
то грустен он, то весел он, но он всегда высок...
Что там за девочка в руке несет кусочек дня,
как будто завтрак в узелке мне, муравью, несет?

«Часовые любви на Смоленской стоят...»

Часовые любви на Смоленской стоят.
Часовые любви у Никитских не спят.
Часовые любви по Петровке идут неизменно...
Часовым полагается смена.

О, великая вечная армия,
где не властны слова и рубли,
где все – рядовые: ведь маршалов нет у любви!
Пусть поход никогда ваш не кончится.
Признаю только эти войска!..
Сквозь зимы и вьюги к Москве подступает весна.

Часовые любви на Волхонке стоят.
Часовые любви на Неглинной не спят.
Часовые любви по Арбату идут неизменно...
Часовым полагается смена.

«Мой мальчик, нанося обиды...»

Ст. Рассадину

Мой мальчик, нанося обиды,
о чем заботятся враги?
Чтоб ты не выполз недобитый,
на их нарвавшись кулаки.

Мой мальчик, но – верны и строги —
о чем заботятся друзья?
Чтоб не нашел ты к ним дороги,
свои тревоги пронося.

И все-таки, людьми ученый,
еще задолго до седин,
рванешь рубаху обреченно,
едва останешься один.

И вот тогда-то, одинокий,
как в зоне вечной мерзлоты,
поймешь, что все, как ты, двуноги,
и все изранены, как ты.

«Дома лучше (что скрывать?)...»

Дома лучше (что скрывать?),
чем на площади холодной:
здесь хоть стулья да кровать,
там – всего лишь флаг бесплодный.

Здесь, хоть беден, хоть богат,
остаюсь самым собою.
Здесь я – барин, там – солдат,
и разлука за спиною.

«Жизнь моя – странствия. Прощай! Пиши!..»

Жизнь моя – странствия. Прощай! Пиши!
Мне нужно выяснить не за рубли:
широки ли пространства твоей души,
велико ль государство моей любви.

«Эта женщина такая...»

Эта женщина такая:
ничего не говорит,
очень трудно привыкает,
очень долго не горит.

Постепенно, постепенно
поднимается, кружа
по ступеням, по ступеням
до чужого этажа.

До далекого, чужого,
до заоблачных высот...
и, прищурясь, смотрят жены,
как любить она идет,

как идет она – не шутит,
хоть моли, хоть не моли...
И уходят в норы судьбы
коммунальные мои.

«Я ухожу от пули, делаю отчаянный рывок...»

Я ухожу от пули, делаю отчаянный рывок.
Я снова живой на выжженном теле Крыма.
И вырастают вместо крыльев тревог
за моей человеческой спиной надежды крылья.

Васильками над бруствером, уцелевшими от огня,
склонившимися над выжившим отделеньем,
жизнь моя довоенная разглядывает меня
с удивленьем.

До первой пули я хвастал: чего не могу посметь?
До первой пули врал я напропалую.
Но свистнула первая пуля, кого-то накрыла смерть,
а я приготовился пулю встретить вторую.

Ребята, когда нас выплеснет из окопа четкий приказ,
не растопчите этих цветов в наступленье!
Пусть синими их глазами глядит и глядит на нас
идущее за нами поколение.

«Из окон корочкой несет поджаристой...»

Е. Рейну

Из окон корочкой несет поджаристой.
За занавесками – мельканье рук.
Здесь остановки нет, а мне – пожалуйста:
шофер в автобусе – мой лучший друг.

А кони в сумерках колышут гривами.
Автобус новенький, спеши, спеши!
Ах, Надя, Наденька, мне б за двугривенный
в любую сторону твоей души.

Я знаю, вечером ты в платье шелковом
пойдешь по улицам гулять с другим...
Ах, Надя, брось коней кнутом нащелкивать,
попридержи-ка их, поговорим!

Она в спецовочке, в такой промасленной,
берет немислимый такой на ней...
Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы...
Куда же гонишь ты своих коней!

Но кони в сумерках колышут гривами.
Автобус новенький спешит-спешит.
Ах, Надя, Наденька, мне б за двугривенный
в любую сторону твоей души!

Песенка о комсомольской богине

Я смотрю на фотокарточку:
две косички, строгий взгляд,
и мальчишеская курточка,
и друзья кругом стоят.

За окном все дождик тенькает:
там ненастье на дворе.
Но привычно пальцы тонкие
прикоснулись к кобуре.

Вот скоро дом она покинет,
вот скоро вспыхнет бой кругом,
но комсомольская богиня...
Ах, это, братцы, о другом!

На углу у старой булочной,
там, где лето пыль метет,
в синей маечке-футболочке
комсомолочка идет.

А ее коса острижена,
в парикмахерской лежит.
Лишь одно колечко рыжее
на виске ее дрожит.

И никаких богов в помине,
лишь только дела гром кругом,
но комсомольская богиня...
Ах, это, братцы, о другом!

Искала прачка клад

На дне глубокого корыта
так много лет подряд
не погребенный, не зарытый
искала прачка клад.

Корыто от прикосновенья
звенело под струну,
и плыли пальцы, розовея,
и шарили по дну.

Корыта стенки как откосы,
омытые волной.
Ей снился сын беловолосый
над этой глубиной.

И что-то очень золотое,
как в осень листопад...
И билась пена о ладони —
искала прачка клад.

До свидания, мальчики

Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
стали тихими наши дворы,
наши мальчики головы подняли —
повзрослели они до поры,
на пороге едва помаячили
и ушли, за солдатом – солдат...
До свидания, мальчики!
Мальчики,
постарайтесь вернуться назад.
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
не жалейте ни пуль, ни гранат
и себя не щадите,
и все-таки
постарайтесь вернуться назад.

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
вместо свадеб – разлуки и дым,
наши девочки платяца белые
раздарили сестренкам своим.
Сапоги – ну куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон...
Вы наплюйте на сплетников, девочки.
Мы сведем с ними счеты потом.
Пусть болтают, что верить вам не во что,
что идете войной наугад...
До свидания, девочки!
Девочки,
постарайтесь вернуться назад.

«На арбатском дворе – и веселье и смех...»

На арбатском дворе – и веселье и смех.
Вот уже мостовые становятся мокрыми.
Плачьте, дети!
Умирает мартовский снег.
Мы устроим ему веселые похороны.

По кладовкам по темным поржавеют коньки,
позабытые лыжи по углам покоробятся...
Плачьте, дети!
Из-за белой реки
скоро-скоро кузнечики к нам заторопятся.

Будет много кузнечиков. Хватит на всех.
Вы не будете, дети, гулять в одиночестве...
Плачьте, дети!
Умирает мартовский снег.
Мы ему воздадим генеральские почести.

Заиграют грачи над его головой,
грохнет лед на реке в лиловые трещины...
Но останется снежная баба вдовой...
Будьте, дети, добры и внимательны к женщине.

«Не вели, старшина, чтоб была тишина...»

Не вели, старшина, чтоб была тишина.
Старшине не всё подчиняется.
Эту грустную песню
придумала война...
Через час штыковой начинается.

Земля моя, жизнь моя, свет мой в окне...
На горе врагу улыбнусь я в огне.
Я буду улыбаться, черт меня возьми,
в самом пекле рукопашной возни.

Пусть хоть жизнь свою укорачивая,
я пойду напрямик
в пулеметное поколачиванье,
в предсмертный крик.

А если, на шаг всего опередив,
достанет меня пуля какая-нибудь,
сложите мои кулаки на груди
и улыбку мою положите на грудь.

Чтоб видели враги мои и знали бы впредь,
как счастлив я за землю мою умереть!

...А пока в атаку не сигналила медь,
не мешай, старшина, эту песню допеть.
Пусть хоть что судьбой напроорочится:
хоть славная смерть,
хоть геройская смерть —
умирать все равно, брат, не хочется.

«О чем ты успел передумать, отец расстрелянный мой...»

О чем ты успел передумать, отец расстрелянный мой,
когда я шагнул с гитарой, растерянный, но живой?
Как будто шагнул я со сцены в полночный
московский уют,
где старым арбатским ребятам бесплатно судьбу
раздают.

По-моему, все распрекрасно, и нет для печали
причин,
и грустные те комиссары идут по Москве как один,
и нету, и нету погибших среди старых арбатских
ребят,
лишь те, кому нужно, уснули, но те, кому надо,
не спят.

Пусть память – нелегкая служба, но все повидала
Москва,
и старым арбатским ребятам смешны утешений
слова.

«Горит пламя, не чадит...»

Горит пламя, не чадит.
Надолго ли хватит?
Она меня не щадит —
тратит меня, тратит.

Быть недолго молодым,
скоро срок догонит.
Неразменным золотым
покачусь с ладони.

Потемнят меня ветра,
дождичком окатит...
А она щедра, щедра —
надолго ли хватит?

«Сто раз закат краснел, рассвет синел...»

Сто раз закат краснел, рассвет синел,
сто раз я клял тебя, песок моздокский,
пока ты жег насквозь мою шинель
и блиндажа жевал сухие доски.

А я жевал такие сухари!
Они хрустели на зубах, хрустели...
А мы шинели рваные расстелим —
и ну жевать. Такие сухари!

Их десять лет сушили, не соврать,
да ты еще их выбелил, песочек...
А мы, бывало, их в воде размочим —
и ну жевать, и крошек не собрать.

Сыпь пощедрей, товарищ старшина!
Пируем — и солдаты и начальство...
А пули? Пули были. Били часто.
Да что о них рассказывать — война.

Тамань

Год сорок первый. Зябкий туман.
Уходят последние солдаты в Тамань.

А ему подписан пулей приговор.
Он лежит у кромки береговой,
он лежит на самой передовой:
ногами – в песок, к волне – головой.

Грязная волна наползет едва —
приподнимется слегка голова;
вспять волну прилив отнесет —
ткнется устало голова в песок.

Эй, волна! Перестань, не шамань:
не заманишь парня в Тамань...

Отучило время меня дома сидеть.
Научило время меня в прорезь глядеть.
Скоро ли – не скоро, на том ли берегу
я впервые выстрелил на бегу.

Отучило время от доброты: атака,
атака, охрипшие рты...
Вот и я гостинцы раздаю-раздаю...
Ты прости меня, мама, за щедрость мою.

«На мне костюмчик серый-серый...»

На мне костюмчик серый-серый,
совсем как серая шинель.
И выхожу я на эстраду
и тихим голосом пою.

А люди в зале плачут-плачут —
не потому, что славен я,
и не меня они жалеют,
а им себя, наверно, жаль.

Жалейте, милые, жалейте,
пока жалеется еще, пока
в руке моей гитара,
а не тяжелый автомат.

Жалейте, будто бы в дорогу
вы провожаете меня...
На мне костюмчик серый-серый.
Он весь – как серая шинель.

«Магическое “два”. Его высоты...»

Магическое «два». Его высоты,
его глубины... Как мне превозмочь?
Два соболя, два сокола, две сойки,
закаты и рассветы, день и ночь,
две матери, которым верю слепо,
две женщины, и, значит, два пути,
два вероятных выхода, два неба —
там, наверху, и у меня в груди.
И, залитый морями голубыми,
расколотый кружится шар земной...
...а мальчики торгуют голубями
по-прежнему. На площади Сенной.

Песенка про Черного кота

Со двора подъезд известный
под названьем «черный ход».
В том подъезде, как в поместье,
проживает Черный кот.

Он в усы усмешку прячет,
темнота ему как щит.
Все коты поют и плачут —
этот Черный кот молчит.

Он и звука не проронит —
только ест и только пьет,
грязный пол когтями тронет
как по горлу проскребет.

Он давно мышей не ловит,
усмехается в усы, ловит нас
на честном слове,
на кусочке колбасы.

Он не требует, не просит,
желтый глаз его горит,
каждый сам ему выносит
и спасибо говорит.

Оттого-то, знать, не весел
дом, в котором мы живем...
Надо б лампочку повесить —
денег всё не соберем.

«Рифмы, милые мои...»

Б. Ахмадулиной

Рифмы, милые мои,
баловни мои, горячки!
Вы – как будто соловьи
из бессонниц и горячки,
вы – как музыка за мной,
умопомраченья вроде,
вы – как будто шар земной,
вскрикнувший на повороте.

С вами я, как тот богач,
и куражусь и чудачу,
но из всяких неудач
выбираю вам удачу...
Я как всадник на коне
со склоненной головою...

Господи, легко ли мне?
Вам-то хорошо ль со мною?

«Раскрываю страницы ладоней...»

Раскрываю страницы ладоней,
молчаливых ладоней твоих,
что-то светлое и молодое,
удивленное смотрит из них.

Я листаю страницы. Маячит
пережитое. Я как в плену.
Вот какой-то испуганный мальчик
сам с собою играет в войну.

Вот какая-то женщина плачет —
очень падают слезы в цене,
и какой-то задумчивый мальчик
днем и ночью идет по войне.

Я листаю страницы, листаю,
исступленно листаю листы:
пережитого громкие стаи,
как синицы, летят на кусты.

И уже не найти человека,
кто не понял бы вдруг на заре,
что погода двадцатого века
началась на арбатском дворе.

О, ладони твои всё умеют,
все, что было, читаю по ним,
и, когда мои губы немеют,
припадаю к ладоням твоим,
припадаю к ладоням горячим,
в синих жилках веселых тону...

Кто там плачет?
Никто там не плачет...
Просто дети играют в войну!

Три сестры

Опустите, пожалуйста, синие шторы.
Медсестра, всяких снадобий мне не готовь.
Вот стоят у постели моей кредиторы
молчаливые: Вера, Надежда, Любовь.

Раскошелиться б сыну недолгого века,
да пусты кошельки упадают с руки...
– Не грусти, не печалуйся, о моя Вера, —
остаются еще у тебя должники!

И еще я скажу и бессильно и нежно,
две руки виновато губами лоя:
– Не грусти, не печалуйся, мать Надежда, —
есть еще на земле у тебя сыновья!

Протяну я Любви ладони пустые,
покаянный услышу я голос ее:
– Не грусти, не печалуйся, память не стынет,
я себя раздарила во имя твое.
Но какие бы руки тебя ни ласкали,
как бы пламень тебя ни сжигал неземной,
в троекратном размере болтливость людская
за тебя расплатилась... Ты чист предо мной!

Чистый-чистый лежу я в наплывах рассветных,
белым флагом струится на пол простыня...
Три сестры, три жены, три судьи милосердных
открывают бессрочный кредит для меня.

Бумажный солдатик

Один солдат на свете жил,
красивый и отважный,
но он игрушкой детской был:
ведь был солдат бумажный.

Он переделать мир хотел,
чтоб был счастливым каждый,
а сам на ниточке висел:
ведь был солдат бумажный.

Он был бы рад – в огонь и в дым,
за вас погибнуть дважды,
но потешались вы над ним:
ведь был солдат бумажный.

Не доверяли вы ему
своих секретов важных,
а почему?
А потому,
что был солдат бумажный.

А он, судьбу свою кляня,
нетихой жизни жаждал.
И все просил: «Огня! Огня!» —
забыв, что он бумажный.

В огонь? Ну что ж, иди! Идешь?
И он шагнул однажды,
и там сгорел он ни за грош:
ведь был солдат бумажный.

«...И когда под вечер над тобою...»

О. Батраковой

...И когда под вечер над тобою
журавли охрипшие летят,
ситцевые женщины толпою
сходятся – затмить тебя хотят.

Молчаливы. Ко всему готовы.
Окружают, красотой соря...
Ситцевые, ситцевые, что вы!
Вы с ума сошли: она ж – своя!

Там, за поворотом Малой Бронной,
где окно распахнуто на юг,
за ее испуганные брови
десять пар непуганых дают.

Тех, которые ее любили,
навсегда связала с ней судьба.
И за голубями голубыми
больше не уходят ястреба.

Вот и мне не вырваться из плена.
Так кружиться мне, и так мне жить...

Я – алхимик.
Ты – моя проблема
вечная...
тебя не разрешить.

Джазисты

Ст. Рассадину

Джазисты уходили в ополчение,
цивильного не скинув облаченья.
Тромбонов и чечеток короли
в солдаты необученные шли.

Кларнетов принцы, словно принцы крови,
магистры саксофонов шли, и, кроме,
шли барабанных палок колдуны
скрипучими подмостками войны.

На смену всем оставленным заботам
единственная зрела впереди,
и скрипачи ложились к пулеметам,
и пулеметы бились на груди.

Но что поделать, что поделать, если
атаки были в моде, а не песни?
Кто мог тогда их мужество учесть,
когда им гибнуть выпадала честь?

Едва затихли первые сраженья,
они рядком лежали. Без движенья.
В костюмах предвоенного шитья,
как будто притворяясь и шутя.

Редели их ряды и убывали.
Их убивали, их позабывали.
И все-таки под музыку земли
их в поминанье светлое внесли,

когда на пяточке земного шара
под майский марш, торжественный такой,
отбила каблуки, танцуя, пара
за упокой их душ. За упокой.

Арбатский дворик

...А годы проходят, как песни.
Иначе на мир я гляжу.
Во дворике этом мне тесно,
и я из него ухожу.

Ни почестей и ни богатства
для дальних дорог не прошу,
но маленький дворик арбатский
с собой уношу, уношу.

В мешке вещевом и заплечном
лежит в уголке
небольшой,
не слывший, как я, безупречным
тот двор с человеческой душой.

Сильнее я с ним и добрее.
Что нужно еще? Ничего.
Я руки озябшие грею
о теплые камни его.

ЖИВОПИСЦЫ

Живописцы, окуните ваши кисти
в суету дворов арбатских и в зарю,
чтобы были ваши кисти словно листья.
Словно листья, словно листья к ноябрю.

Окуните ваши кисти в голубое,
по традиции забытой городской,
нарисуйте и прилежно, и с любовью,
как с любовью мы проходим по Тверской.

Мостовая пусть качнется, как очнется!
Пусть начнется, что еще не началось.
Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтется...
Что гадать нам: удалось – не удалось?

Вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы,
наше лето, нашу зиму и весну...
Ничего, что мы чужие, – вы рисуйте!
Я потом, что непонятно, объясню.

Песенка об Арбате

Ты течешь, как река. Странное название!
И прозрачен асфальт, как в реке вода.
Ах, Арбат, мой Арбат, ты – мое призвание.
Ты – и радость моя, и моя беда.

Пешеходы твои – люди не великие,
каблуками стучат – по делам спешат.
Ах, Арбат, мой Арбат, ты – моя религия,
мостовые твои подо мной лежат.

От любви твоей вовсе не излечишься,
сорок тысяч других мостовых любя.
Ах, Арбат, мой Арбат, ты – мое отечество,
никогда до конца не пройти тебя!

«Над синей улицей портовой...»

Над синей улицей портовой
всю ночь сияют маяки.
Откинув ленточки фартово,
всю ночь гуляют моряки.

Кричат над городом сирены,
и птицы крыльями шуршат,
и припортовые царевны
к ребятам временным спешат.

Ведь завтра, может быть, проститься
придут ребята, да не те...
Ах, море – синяя водица!
Ах, голубая канитель!

Его затихнуть не умолишь —
взметнутся щепками суда.
Земля надежнее, чем море, —
так почему же вы туда?

Волна соленая задушит —
ее попробуй упросить...
Эх, если б вам служить на суше
да только б ленточки носить!

«А мы швейцару: “Отворите двери!..”»

А мы швейцару: «Отворите двери!
У нас компания веселая, большая,
приготовьте нам отдельный кабинет!»

А Люба смотрит: что за красота!
А я гляжу: на ней такая брошка!
Хоть напрокат она взята,
пускай потешится немножко.
А Любе вслед глядит один брюнет.
А нам плевать, и мы вразвалочку,
покинув раздевалочку,
идем себе в отдельный кабинет.

На нас глядят бездельники и шлюхи,
Пусть наши женщины не в жемчуге,
послушайте, пора уже,
кончайте ваши «ах» на сто минут.

Здесь тряпками попахивает так...
Здесь смотрят друг на друга сквозь червонцы...
Я не любитель всяких драк,
но мне сказать ему придется,
что я ему попорчу весь уют,
что наши девушки за денежки,
представь себе, паскудина брюнет,
они себя не продают.

Каравай

Вы видели, щиток приоткрывая,
в задумчивой и душевной глубине
прищуренные глазки каравая,
когда он сам с собой наедине?

Когда очнуться не хватает мочи,
когда румяный край – под цвет зари...
О чем он думает? О чем бормочет,
ленивые глотая пузыри?

А в нем живут сгоревшие поленья,
старанья мастериц и мастеров.
Он, как последнее стихотворенье,
и добр, и откровенен, и суров.

И задыхается на белом блюде
от радости рожденья своего...
И кланяются караваю люди
и ломтики уносят от него.

«Разлюбила меня женщина и ушла не спеша...»

Разлюбила меня женщина и ушла не спеша.
Кто знает, когда доведется опять с нею встретиться.
А я-то предполагал, что земля – это шар...
Не с кем мне было тогда посоветоваться.

Старый пиджак

Ж. Б.

Я много лет пиджак ношу.
Давно потерялся и не нов он.
И я зову к себе портного
и перешить пиджак прошу.

Я говорю ему шутя:
«Перекроите всё иначе.
Сулит мне новые удачи
искусство кройки и шитья».

Я пошутил. А он пиджак
серьезно так перешивает,
а сам-то все переживает:
вдруг что не так. Такой чудак.

Одна забота наяву
в его усердье молчаливом,
чтобы я выглядел счастливым
в том пиджаке. Пока живу.

Он представляет это так:
едва лишь я пиджак примерю —
опять в твою любовь поверю...
Как бы не так. Такой чудак.

«Мы стоим – крестами руки...»

О. Б.

Мы стоим – крестами руки —
безутешны и горды,
на окраине разлуки,
у околицы беды,
где, размеренный и липкий,
неподкупен ход часов,
и улыбки, как калитки,
запираем на засов.
Наступает час расплаты,
подступает к горлу срок...
Ненадежно мы распяты
на крестах своих дорог.

«Тьмою здесь все занавешено...»

Г. В.

Тьмою здесь все занавешено
и тишина, как на дне...
Ваше величество женщина,
да неужели – ко мне?

Тусклое здесь электричество,
с крыши сочится вода.
Женщина, ваше величество,
как вы решились сюда?

О, ваш приход – как пожарище.
Дымно, и трудно дышать...
Ну, заходите, пожалуйста.
Что ж на пороге стоять?

Кто вы такая? Откуда вы?!
Ах, я смешной человек...
Просто вы дверь перепутали,
улицу, город и век.

Старый дом

Дом предназначен на слом. Извините,
если господствуют пыль в нем и мрак.
Вы в колокольчик уже не звоните.
Двери распахнуты. Можно и так.

Всё здесь в прошедшем, в минувшем и бывшем.
Ночь неспроста тишину созвала.
Серые мыши, печальные мыши
все до единой ушли со двора.

Где-то теперь собралось их кочевье?
Дом предназначен на слом. Но сквозь тьму,
полно таинственного значенья,
что-то еще шелестит по нему.

Мел осыпается. Ставенька стонет.
Двери надеются на визит.
И удивленно качается столик.
И фотокарточка чья-то висит.

И, припорошенный душною пылью,
помня еще о величье своем,
дом шевелит пожелтевшие крылья
старых газет, поселившихся в нем.

Дом предназначен на слом. Значит, кроме
не улыбнется ему ничего.
Что ж мы с тобой позабыли в том доме?
Или не все унесли из него?

Может быть, это ошибка? А если
это ошибка? А если – она?..
Ну-ка, гурьбой соберемся в подъезде,
где, замирая, звенит тишина!

Ну-ка, взбежим по ступенькам знакомым!
Ну-ка, для успокоенья души
крикнем, как прежде: «Вы дома?.. Вы дома?!»
Двери распахнуты. И ни души.

Черный «мессер»

Вот уже который месяц
и уже который год прилетает
черный «мессер» —
спать спокойно не дает.

Он в окно мое влетает,
он по комнате кружит,
он как старый шмель рыдает,
мухой пойманной жужжит.

Грустный летчик как курортник...
Его темные очки
прикрывают, как намордник,
его томные зрачки.

Каждый вечер, каждый вечер
у меня штурвал в руке,
я лечу к нему навстречу
в довоенном «ястребке».

Каждый вечер в лунном свете
торжествует мощь моя:
я, наверное, бессмертен —
он сдается, а не я.

Он пробоинами мечен,
он сгорает, подожен,
но приходит новый вечер,
и опять кружится он.

И опять я вылетаю,
побеждаю, и опять
вылетаю, побеждаю...
Сколько ж можно побеждать?

«Я жалею собак с нашей улицы...»

Я жалею собак с нашей улицы:
очень грустно сидеть на цепи...
Все они белозубы и умницы,
только им не хватает степи!

Песенка о Сокольниках

По Сокольникам листья летят золотые,
а за Язузу – лето летит.
Мы с тобою, Володя, почти молодые —
нам и старость в глаза не глядит.

Ну давай,
как в канун годового отчета,
не подумав заняться другим,
мы положим на стол канцелярские счета
и ударим по струнам тугим.

И разлукой, и кровью, и хлебом мякинным,
и победой помянем войну:
пять печальных костяшек
налево откинем,
а счастливую – только одну.
Все припомним, сочтем и учтем,
и, конечно,
непохожи на сказку и бред,
побегут под рукой
за колечком колечко
цвета радостей наших и бед.

Ах, потери, потери – с кого мы их спросим?
Потому,
разобравшись во всем,
два печальных колечка налево отбросим,
три веселых направо снесем.

...По Сокольникам сумерки сыплются синим,
и домишки старинные спят.
Навсегда нам с тобою, Володя Максимов,
Каждый шорох за окнами свят.

Навсегда-навсегда,
меж ночами и днями,
меж высокой судьбой и жильем
мы выросли,
словно сосны,
своими корнями,
в ту страну, на которой живем.

Осень в Кахетии

Вдруг возник осенний ветер, и на землю он упал.
Красный ястреб в листьях красных словно
в краске утопал.
Были листья странно скроены, похожие на лица, —
сумасшедшие закройщики кроили эти листья,
озорные, заводные посшивали их швеи...
Листья падали на палевые пальчики свои.

Называлось это просто: отлетевшая листва.
С ней случалось это часто по традиции по давней.
Было поровну и в меру в ней улыбки и страданья,
торжества и увяданья, колдовства и мастерства.

И у самого порога, где кончается дорога,
веселился, и кружился, и плясал хмельной немного
лист осенний, лист багряный, лист с нелепою
резьбой...
В час, когда печальный ястреб вылетает на разбой.

По Смоленской дороге

Ж. Б.

По Смоленской дороге – леса, леса, леса.
По Смоленской дороге – столбы, столбы, столбы.
Над Смоленской дорогою, как твои глаза, —
две вечерних звезды – голубых моих судьбы.

По Смоленской дороге – метель в лицо, в лицо,
всё нас из дому гонят дела, дела, дела.
Может, будь понадежнее рук твоих кольцо —
покороче б, наверно, дорога мне легла.

По Смоленской дороге – леса, леса, леса.
По Смоленской дороге – столбы гудят, гудят.
На дорогу Смоленскую, как твои глаза,
две холодных звезды голубых глядят, глядят.

Дежурный по апрелю

Ах, какие удивительные ночи!
Только мама моя в грусти и тревоге:
– Что же ты гуляешь, мой сыночек,
одинокий,
одинокий? —
Из конца в конец апреля путь держу я.
Стали звезды и круглее и добрее...
– Мама, мама, это я дежурю,
я – дежурный
по апрелю!

– Мой сыночек, вспоминаю все, что было,
стали грустными глаза твои, сыночек...
Может быть, она тебя забыла,
знать не хочет?
Знать не хочет? —
Из конца в конец апреля путь держу я.
Стали звезды и круглее и добрее...
– Что ты, мама! Просто я дежурю,
я – дежурный
по апрелю...

О кузнечиках

Два кузнечика зеленых в траве, насупившись, сидят.
Над ними синие туманы во все стороны летят.
Под ними красные цветочки и золотые лопухи...
Два кузнечика зеленых пишут белые стихи.

Они перышки макают в облака и молоко,
чтобы белые их строчки было видно далеко,
и в затылках дружно чешут, каждый лапкой шевелит,
но заглядывать в работу один другому не велит.

К ним бежит букашка божья, бедной барышней
бежит,
но у них к любви и ласкам что-то сердце не лежит.
К ним и прочие соблазны подбираются, тихи,
но кузнечики не видят – пишут белые стихи.

Снег их бьет, жара их мучит, мелкий дождичек
кропит,
шар земной на повороте отвратительно скрипит...
Но меж летом и зимою, между счастьем и бедой
прорастает неизменно вещей смысл работы той,
и сквозь всякие обиды пробиваются в века
хлеб (поэма), жизнь (поэма), ветка тополя (строка)...

«Когда известный русский царь в своей поддевочке короткой...»

Когда известный русский царь в своей поддевочке
короткой,
усмешкой странной на губах и журавлиною походкой
напоминая давний свой портрет в ореховом овале,
входил в присутствие, то все присутствующие
вставали.

В присутствии вставали все, хоть на царе была
поддевка.
Неважно, что таилось в ней: дань старине или
издевка.
Не думая, как взглянем мы на них – с надеждой
или болью,—
они вставали, словно лес, и ран не посыпали солью.

Присутствующие тех лет, предшествующих тем
и прочим,
не оставлявшие следов достойных у порогов отчих,
стремятся в райские врата, все гимны скопом
прооравши,
киркой, лопатой и пером ни разу рук не замаравши.

И мы, присутствуя при сем со дня рожденья и
до смерти,
так расточительны подчас и так жалки в своем
усердьи,
что лишь по нашему труду, по нашей лишь
недоброй воле
растет, растет цена на соль тем более, чем больше боли.

Песенка о московских ополченцах

Над нашими домами разносится набат,
и затемнение улицы одело.
Ты научи любви, Арбат,
а дальше – дальше наше дело.

Гляжу на двор арбатский, надежды не тая,
вся жизнь моя встает перед глазами.
Прощай, Москва, душа твоя
всегда, всегда пребудет с нами!

Расписки за винтовки с нас взяли писаря,
но долю себе выбрали мы сами...
Прощай, Москва, душа твоя
всегда, всегда пребудет с нами!

Гитара

Усталость ноги едва волочит,
гитара корчится под рукой.
Надежда голову мне морочит,
а дождь сентябрьский льет такой...

Мы из компании. Мне привычны
и дождь и ветер, и дождь и ты.
Пускай болтают, что не типичны
в двадцатом веке твои черты.

Пусть друг недолгий в нас камень кинет,
пускай завистник свое кричит —
моя гитара меня обнимет,
интеллигентно она смолчит.

Тебе не первой, тебе не первой
предъявлен веком нелегкий счет.
Моя гитара, мой спутник верный,
давай хоть дождь смахну со щек.

«Непокорная голубая волна...»

Л. Лужиной

Непокорная голубая волна
все течет, все течет, не кончается.
Море Черное, словно чаша вина,
на ладони моей всё качается.

Я все думаю об одном, об одном,
словно берег надежды покинувши.
Море Черное, словно чашу с вином,
пью во имя твое, запрокинувши.

Неизменная среди всяких морей,
как расстаться с тобой, не отчаяться?
Море Черное на ладони моей
как баркас уходящий качается.

Песенка веселого солдата

Возьму шинель, и вещмешок, и каску,
в защитную окрашенные краску.
Ударю шаг по улицам горбатым...
Как просто быть солдатом, солдатом.

Забуду все домашние заботы.
Не надо ни зарплаты, ни работы.
Иду себе, играю автоматом...
Как просто быть солдатом, солдатом.

А если что не так – не наше дело:
как говорится, «родина велела».
Как славно быть ни в чем не виноватым
совсем простым солдатом, солдатом.

«В саду Нескучном тишина...»

В саду Нескучном тишина.
Встает рассвет светло и строго.
А женщину зовут Дорога...
Какая дальняя она!

Песенка о московском трамвае

Раскрасавец двадцатых годов,
позабывший про старость и раны,
он и нынче, представьте,
готов нам служить неустанно.

Он когда-то гремел и блистал,
на него любоваться ходили.
А потом он устал и отстал,
и его позабыли.

По проспектам бежать не дают,
в переулках дожить разрешают,
громких песен о нем не поют,
со смешком провожают.

Но по улицам, через мосты
он бежит, дребезжит и бодрится.
И с горячей ладони Москвы
все сойти не решится.

«Допеты все песни. И точка...»

Допеты все песни. И точка.
И хватит, и хватит о том.
Ну, может, какая-то строчка
осталась еще за бортом.

Над нею кружатся колеса,
но, даже когда не свернуть,
наивна и простоволоса,
она еще жаждет сверкнуть.

Надейся, надейся, голубка,
свои паруса пораскинь,
ты, хрупкая, словно скорлупка,
по этим морям городским.

Куда тебя волны ни бросят,
на помощь теперь не зови.
С тебя ничего уж не спросят:
как хочется – так и плыви,
подобна мгновенному снимку,
где полночь и двор в серебре,
и мальчик с гитарой в обнимку
на этом арбатском дворе.

«Всю ночь кричали петухи...»

Всю ночь кричали петухи
и шеями мотали,
как будто новые стихи,
закрыв глаза, читали.

Но было что-то в крике том
от едкой той кручины,
когда, согнувшись, входят в дом
постылые мужчины.

И был тот крик далек-далек,
и падал так же мимо,
как глядят, глядя в потолок,
чужих и нелюбимых.

Когда ласкать уже невмочь
и отказаться трудно...
И потому всю ночь, всю ночь
не наступало
утро.

Песенка о пехоте

Простите пехоте,
что так неразумна бывает она:
всегда мы уходим,
когда над землею бушует весна.
И шагом неверным
по лестничке шаткой спасения нет.
Лишь белые вербы,
как белые сестры, глядят тебе вслед.

Не верьте погоде,
когда затяжные дожди она льет.
Не верьте пехоте,
когда она бравые песни поет.
Не верьте, не верьте,
когда по садам закричат соловьи:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.